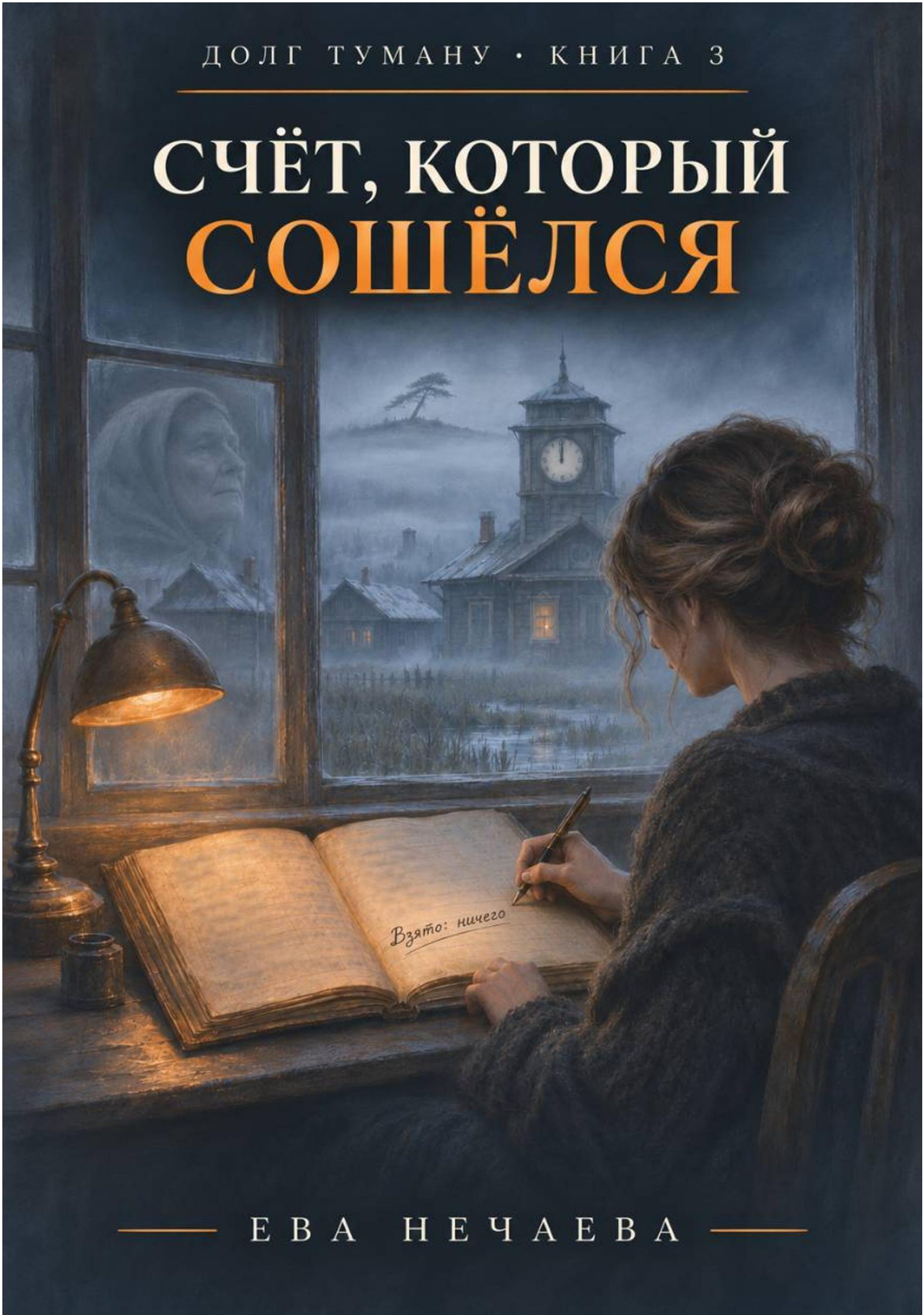
ДОЛГ ТУМАНУ · КНИГА 3

СЧЁТ, КОТОРЫЙ СОШЁЛСЯ



ЕВА НЕЧАЕВА

Ева Нечаева

Счёт, который сошёлся

«Автор»
2026

Нечаева Е.

Счёт, который сошёлся / Е. Нечаева — «Автор», 2026

Два года Ника ведёт Счётную книгу посёлка Сырой Бор и ничего не должна туману. Зато туман должен ей. Бабушка двадцать три года платила за жизнь внучки своими воспоминаниями и ушла в туман раньше, чем долг закрылся. Теперь Межа должна ей. Сколько, знает только сама Межа. И бабушка, которая всё ещё сидит где-то на шпалах к острову и досчитывает.Ника берёт двенадцать бабушкиных тетрадей и садится считать. Но чем точнее цифра, тем страшнее вопрос, кому её отдать. Бабушка уже решила, и этот выбор Ника простить не может. А Арсению туман по ночам возвращает того, прежнего, которого Ника любила и которого он сам боится.Если свести все долги посёлка в ноль, туман уснёт. Только кто тогда купит жизнь следующему утонувшему ребёнку?Финал серии «Долг туману».

© Нечаева Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двенадцать ударов 5
Глава 2. Девяносто семь 8
Глава 3. Марфа Григорьевна 11
Глава 4. Шилов дом 14
Глава 5. Успенье 18
Глава 6. Два утра 22
Глава 7. Лицей 25
Глава 8. Ведомость 28
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Ева Нечаева
Счёт, который сошёлся

Глава 1. Двенадцать ударов

Часы на башне били в полдень так, что в бабушкином буфете звенели гранёные стаканы.

Я привыкла к этому за зиму. Первые две недели вздрагивала, роняла ручку, теряла строку в акте. Потом перестала. Потом поймала себя на том, что без пяти двенадцать откладываю работу и жду. Двенадцать ударов, медных, с долгим гулом, и после двенадцатого в посёлке на секунду становилось очень тихо, как будто все слушали, не будет ли тринадцатого.

Тринадцатого не было ни разу. Арсений проверял.

В субботу, двенадцатого февраля, я считала удары, стоя на крыльце с кружкой. Было минус двадцать два, солнце, снег скрипел так, что слышно было, как через три двора Митрич идёт к колонке. Рубль сидел на перилах и смотрел на башню с выражением кота, которого мучают не по его вине.

На двенадцатом ударе из-за угла вышел Арсений. В тулупе Глухова, который он забрал себе в декабре, потому что «он тёплый и всё равно висит», с тетрадью под мышкой и термосом в руке.

— Минута в минуту, — сказал он вместо приветствия. — Я сверял по радио. Три недели не врут.

— Поздравляю.

— Спасибо. — Он поднялся на крыльцо, поцеловал меня в висок, холодным носом. — Я горжусь. Можно я погоржусь пять минут?

— Можно.

— Всё. Погордился.

Мы сели на кухне. Он налил из термоса шиповник в две кружки, положил в мою три ложки сахара, не спрашивая. Он перестал спрашивать в декабре, когда записал в тетрадь «три — это навсегда» и потом сказал, что перечитывать это не надо.

Тетрадь он положил на стол. Ту самую, в клетку, толстую, с декабря двадцать шестого. Теперь у неё было две закладки: синяя и красная. Синяя для его записей. Красная для «того».

— Новенького нет? — спросила я.

— Нет. — Он открыл на красной закладке. — Одна. Как была.

Под красной закладкой была одна страница, исписанная его почерком, но не так, как остальные. Аккуратнее. Как пишут под диктовку. Сверху стояло: «ЕГО». И ниже:

«07.11.2026. Печь. Учит Н. топить. Сажа на скуле. На „вы“. Поцелуй в угол рта. „Это я запишу“. Н. пахла мятой».

И ниже, моим почерком, моей ручкой, отметка: «Было. Подтверждаю. Н. Л.».

Это была наша договорённость с ноября. Если ему возвращается что-то из прежнего, он записывает под красной закладкой и показывает мне. Я подтверждаю: было, так было, в такой-то день. Тогда он знает, что это не сон и не выдумка, а его, только чужое. Мы называли это «двойной подписью». Как в книге.

За три месяца под красной закладкой не прибавилось ни строчки. Тумана не было: зимой его не бывает. Межа гасила долг только в туманные ночи. Зимой она молчала.

— Знаешь, что смешно, — сказал Арсений, листая синюю половину, свою, длинную, плотную. — Я эту печь теперь вспоминаю реже, чем ледоход. Ледоход мой, а печь его. А ледоход я вспоминаю чаще. Значит, моё сильнее.

— Это не соревнование.

— Всё соревнование. — Он улыбнулся. — Я с ним соревнуюсь, ты разве не видишь? Он тебя за четыре недели… ну, ты знаешь. А я за пятнадцать месяцев всё ещё не уверен, что он бы мне руку пожал.

— Пожал бы.

— Откуда ты знаешь?

— Он со всеми здоровался за руку. Даже с Пашкевичем. Даже когда Пашкевич ему хамил.

Арсений подумал и записал в синюю половину: «12.02. Тот здоровался со всеми. Я тоже буду». Я не стала говорить, что он и так со всеми здоровается.

Потом он закрыл тетрадь и отодвинул её. Посмотрел на меня через стол.

— Пойдём к книге, — сказал он. — Я по субботам свожу. Ты обещала.

Книга лежала у него дома, в новом ящике. Старый зелёный, обгоревший с одного бока, он не выбросил: поставил в мастерской, складывал туда сломанные часы на запчасти. Новый был деревянный, Пашкевич привёз из Вологды, с медными уголками и замком. Арсений открыл его ключом, который носил на шее рядом с очками, и положил шестой том на стол под лампу.

Мы сводили по субботам с декабря. Зимой это было быстро: платежей нет, тумана нет, движения нет. Он листал до последней страницы, проверял остатки, ставил карандашную галочку. Я сверяла с ведомостью у себя в ноутбуке. Двадцать минут.

В эту субботу он открыл последнюю страницу и не поставил галочку.

— Ника.

Я подошла. Посмотрела через его плечо.

Строка Таисии. Последняя страница, где в декабре двадцать шестого появилась серая запись, которую никто не писал. «Межа за Лобанову Т. М. Срок: 23 года. Предмет: —. Мера: —. Кредитор:» и пятно. Под ней, серым: «Предъявлено не было. Должник просит отсрочки». Под ней, моим почерком, чёрными чернилами: «Отсрочку даю. До 28.08.2028. Лобанова В. А.»

И под этим, новое. Серое, холодное, той же ровной рукой без наклона, которой писала только Межа:

«Должник напоминает: 198 дней».

Я смотрела на цифру. В комнате тикали семь часов, все вразнобой.

— Это вчера появилось, — сказал Арсений. — Или ночью. В прошлую субботу не было. Я бы видел.

— Тумана не было.

— Не было. — Он не трогал строку. — Ей туман не нужен, чтобы писать. Ей нужен, чтобы брать.

Я посчитала в уме. Двенадцатое февраля. До двадцать восьмого августа. Сто девяносто восемь. Межа не ошиблась ни на день.

— Она считает, — сказала я.

— Она всегда считает. Это её работа.

— Нет. — Я наклонилась ближе. — Она не просто считает. Она мне напоминает. Зачем должнику напоминать кредитору о сроке?

Арсений повернулся ко мне.

— Не знаю. Ты аудитор.

— Должник напоминает о сроке, когда ему выгодно, чтобы кредитор этот срок пропустил. Или чтобы кредитор начал нервничать. — Я выпрямилась. — Или когда он сам боится и хочет, чтобы всё уже кончилось. Неважно как.

— Межа боится?

— Не знаю.

Мы стояли над книгой. За окном, через забор, был виден дом Глухова. Пустой с ноября. Арсений топил там печь раз в неделю, чтобы не промёрз, и больше туда не заходил.

— Ника, — сказал он тихо. — Что будет двадцать восьмого?

— Не знаю. Отсрочка кончится. Бабушка сказала: «Не сейчас». Не сказала «никогда». Она сказала, что досчитает одну вещь и скажет.

— А если не скажет?

— Тогда я буду решать сама.

— Что решать?

Я не ответила. Я не знала. Я полтора года не знала, что делают с долгом, который тебе должен туман, и с бабушкой, которая существует, пока он должен.

Арсений закрыл книгу. Не стал ставить галочку. Положил в ящик, запер.

— Пошли, — сказал он. — Покажу тебе одну вещь. На башне. Я там маятник перевесил, теперь не отстаёт даже в мороз.

Мы шли к сельсовету по скрипучему снегу. У колонки Митрич набирал воду и смотрел на нас, на башню, снова на нас.

— Лучинин, — сказал он. — Твои часы мне спать мешают. В шесть утра бьют.

— Они в шесть не бьют. Только в двенадцать.

— А мне в шесть слышится. — Митрич поднял ведро. — Лучше бы не чинил. Двадцать пять лет без них жили.

— Тридцать шесть, — сказал Арсений.

— Тем более.

Митрич ушёл, расплёскивая воду на снег. Арсений смотрел ему вслед и улыбался.

— Ему нравится, — сказал он. — Он каждый полдень у колонки стоит. Я видел. Стоит и считает.

На башне было холодно, пахло маслом и железом. Маятник ходил медленно, ровно, с тихим стуком в конце каждого размаха. Арсений показывал мне, где перевесил груз, почему зимой латунь сжимается, как он это рассчитал. Я слушала. Мне было тепло от его голоса и холодно от цифры в книге.

Сто девяносто восемь.

Вечером, дома, я открыла ноутбук и создала новый файл. Назвала его «Таисия». Первая строка таблицы: «Требование к Меже. Кредитор: Лобанова Т. М. Наследник: Лобанова В. А. Сумма: неизвестна».

Вторая строка: «Источники: двенадцать тетрадей (у мамы, СПб). Тринадцатая, 2025–2026 (у меня)».

Третью строку я написала не сразу. Посидела над ней.

«Срок: 28.08.2028».

Потом взяла телефон и написала маме. Коротко, как она пишет мне.

«Мам. Мне нужны бабушкины тетради. Все. Привези летом. Или раньше».

Ответ пришёл через минуту. Мама не спала.

«Зачем?»

Я подумала, что ответить. Написала правду. Это было правило нового года, которое я дала себе в декабре и пока не нарушила ни разу.

«Хочу посчитать, сколько Межа ей должна».

Мама долго не отвечала. Потом пришло:

«Приеду в июне. Не считай без меня».

Глава 2. Девяносто семь

Мама приехала в июне с двумя сумками, и в одной из них, тяжёлой, перевязанной по ручкам бабушкиным платком, были тетради.

Пашкевич привёз её с развилки. Вышел первым, открыл ей дверцу, как открывают начальству, и я увидела, что мама за полгода сделалась другой. Не внешне: та же короткая стрижка, тот же бежевый плащ, только летний. Другой была походка. Она вышла из машины и пошла к калитке не оглядываясь по сторонам, как идут к себе.

— Ты бросила курить, — сказала я.

— С марта. — Мама поставила сумку на крыльцо. — Не спрашивай. Злая как собака.

— Видно.

— Вот и не спрашивай.

Она обняла меня. Крепко, двумя руками, как в ноябре на развилке. От неё пахло поездом и мятной жвачкой.

Тетради она не отдала мне сразу. Отнесла сумку в бабушкину комнату, поставила у кровати, села рядом на табурет и положила на сумку ладонь. Я стояла в дверях.

— Ты считать хочешь, — сказала мама.

— Да.

— Я тоже считала. — Мама достала из кармана плаща свёрнутый вчетверо лист, развернула, разгладила на колене. — С ноября. По вечерам. Вот.

Лист был исписан её почерком, мелким, наклонным, с длинными хвостами у «д» и «у». Нумерованный список. Я наклонилась.

«1) Как я боялась грозы.

2) Как я порвала платье на выпускном в 8 классе.

3) Ваську Костина за сараем.

4) Как я училась кататься на велосипеде на Нижней, и упала в канаву, и она меня отмывала в бане.

5) Мою первую двойку.

…»

Номеров было девяносто семь.

— Это что она отдала про меня, — сказала мама. — За двадцать три года. Я выписала. Каждую строчку, где «отдала» и потом что-то моё. Девяносто семь штук.

Я села рядом, на край кровати. Мама держала лист на колене.

— Я теперь это помню за неё, — сказала мама. — Понимаешь? Она отдала, а я помню. Я раньше половину сама забыла. Велосипед этот. Двойку. А теперь прочитала и вспомнила. И мне кажется, что я ей это возвращаю. По одной.

— Мам.

— Не надо. — Она сложила лист обратно вчетверо. — Я не для того. Я для того, чтобы ты знала. Я тоже считала. И я тебе вот что скажу. — Она повернулась ко мне. — Не предъявляй.

— Я ещё ничего не…

— Не предъявляй, — повторила мама. — Я в ноябре на острове её видела. Босую. В халате. Она меня не знала. Почти не знала. Только про свечку вспомнила. Но она там была. Понимаешь? Была. Ты говоришь, она там, пока Межа ей должна. Значит, пока не предъявишь, она есть. Пусть хоть так будет.

— Это не жизнь, мам. Она сама сказала.

— Она сказала «не сейчас». — Мама встала. — Я помню. Я рядом стояла. Она не сказала «давай». Она сказала «подожди». Вот и жди.

Она вышла на кухню. Я слышала, как она гремит чайником, как открывает и закрывает буфет. Как щёлкает зажигалкой, потом чертыхается и бросает зажигалку на стол.

Я осталась в бабушкиной комнате с сумкой. Развязала платок. Тетради лежали стопкой, двенадцать штук, по порядку, самая старая внизу. Котята на обложках выцветали от тетради к тетради, будто их тоже понемногу отдавали.

Вечером пришёл Арсений. Мама встретила его на крыльце.

— Жених, — сказала она.

— Ольга Михайловна. — Он протянул ей руку. Мама посмотрела на руку, потом пожала. — У меня записано, что вы приедете в июне. С тетрадями.

— У тебя всё записано?

— Почти всё. — Он улыбнулся. — Но вас я и так помню. Вы в прошлом ноябре мне сказали, что я хороший мужик. Через стенку.

Мама подняла бровь.

— Через стенку я говорила дочери.

— Стенки тонкие, — сказал Арсений. — Я на крыльце стоял, когда вы… ну. Неважно. Я запомнил. Не записывал. Просто запомнил.

Мама смотрела на него. Потом отступила, пропуская в дом.

— Чай будешь, хороший мужик?

За ужином мама рассказала про Петербург. Про то, что её сократили на работе в марте, и она не стала искать новую, потому что «а смысл». Про то, что продала машину. Про то, что обои с зелёными листьями в прихожей начали отходить у потолка, и она не стала подклеивать. Про то, что купила билет в Сырой Бор на всё лето и обратного не взяла.

— На всё лето, — сказала я.

— Тебе не нравится?

— Нравится. Просто…

— Просто ты считаешь, сколько дней. — Мама положила себе картошки. — Я тоже считаю. Семьдесят два. До двадцать восьмого. Мне Лида сказала про строку.

Арсений поднял на меня глаза. Я не говорила маме про строку. Я говорила Лиде.

— Лида тебе звонит?

— По воскресеньям. — Мама пожала плечами. — Блины, детективы, про тебя. Она говорит, ты стала злая.

— Я не злая.

— Ты злая, — сказал Арсений. Мягко. — Когда думаешь про двадцать восьмое. Уши красные.

Мама посмотрела на мои уши. Потом на Арсения.

— Это у неё с детства, — сказала она. — Я забыла. А теперь вспомнила. Это мама отдала, номер сорок три. «Как Ника краснеет ушами». Я в тетради нашла.

Мы сидели за столом. Арсений смотрел на маму. Мама смотрела на мои уши. Я смотрела в тарелку.

— Сорок три, — повторил Арсений. — У вас список?

— Девяносто семь, — сказала мама. — Про меня. Про Нику она отдавала меньше. Про Нику она берегла.

После ужина Арсений ушёл: в туманную пору ему по вечерам надо было быть с книгой, а летом он просто привык. На крыльце задержался.

— Твоя мама не хочет, чтобы ты предъявляла, — сказал он.

— Ты слышал.

— Стенки тонкие. — Он засунул руки в карманы. — Ника. Я тоже не хочу.

— Почему?

— Потому что я помню, что Глухов сказал про проход. «Будет кого отдавать». — Он смотрел на башню, тёмную на фоне белого июньского неба. Ночи стояли светлые, без темноты. — Я его на остров нёс. Видел, что Межа взяла. Я не хочу смотреть, как она берёт с тебя.

— Ты сам кредитор. Тебе она платит без всякого прохода.

— Мне она платит тем, что взяла у меня. Это не то же самое. — Он помолчал. — И я её не звал. Она сама.

Он ушёл. Я вернулась в дом. Мама сидела в бабушкиной комнате на кровати, со стопкой тетрадей на коленях, и не читала.

— Мам. Можно я буду считать?

— Считай, — сказала мама. — Только вместе. Ты одна посчитаешь, и тебе захочется предъявить. Ты такая. Я тебя знаю. Ты, когда всё сходится, не можешь остановиться. Мама такая была. Поэтому я рядом посижу. И если посчитаешь, а потом всё равно захочешь, скажешь мне первой. Не Лучинину, не Лиде. Мне. Договорились?

— Договорились.

Мама отдала мне первую тетрадь. Самую старую, с котёнком, от которого остался один контур.

— С начала, — сказала она. — Не с середины. Ты всегда с середины начинаешь.

Я открыла. «9 авг. 2003. Нику увезли. Осталось: 598. Пусть помнит меня молодой».

Мама сидела рядом и смотрела, как я выписываю первую цифру в таблицу. Пятьсот девяносто восемь.

Глава 3. Марфа Григорьевна

Пашкевич попросил том шестьдесят восьмого года так, как просят в долг у человека, которому уже должны: глядя в сторону.

— Слышь, Лучинин. Мне бы посмотреть. Один раз. При тебе.

Это было в субботу, пятнадцатого июля, у магазина. Арсений покупал хлеб, я ждала его на скамейке. Олег за прилавком считал сдачу, медленно, шевеля губами, как первоклассник. Пашкевич стоял в дверях подсобки, вытирая руки тряпкой, хотя руки были чистые.

— Зачем? — спросил Арсений.

— Затем. — Пашкевич помолчал. — Отец у меня у корня брал. Это я знаю, по бумагам его. А в бумагах ещё год стоит, шестьдесят восьмой, и больше ничего. Хочу посмотреть, что в книге.

Арсений посмотрел на меня через стекло витрины. Я кивнула.

— Вечером, — сказал Арсений. — На чердаке. Третья ступенька у лестницы выбита, учти.

— Я знаю, — сказал Пашкевич. — Я пробовал.

Вечером на чердаке бывшего сельсовета было душно, как в бане. Пахло пылью и нагретой жестью. Арсений открыл ящик, достал третий том, «1957–1975», положил на газеты. Пашкевич сидел на корточках рядом, в своей рабочей куртке, и не трогал книгу. Ждал.

Арсений листал. Шестьдесят седьмой год. Шестьдесят восьмой. Строки шли плотно, мелко, почерком Анны Глуховой, крупным, с нажимом. «Межа, сено». «Межа, здоровье тёлки». «Межа, сын из армии». Я читала через плечо.

В августе шестьдесят восьмого строки стали другими. Много переводов, много зачёркнутого. Целые страницы перечёркнуты наискось, и сбоку, на полях, рукой Анны: «Сверка. Снято». «Сверка. Вернулось». «Сверка. Ушёл».

— Это та сверка, — сказал Арсений. — Шестьдесят восьмого. Глухов говорил, после неё полпосёлка уехало.

— Митрич говорил, — сказал Пашкевич. — Он тогда только из армии пришёл. Говорит, после сверки в посёлке осталось сорок дворов из ста. И туман три года не приходил. Анна Глухова тогда сказала: долгов мало осталось, Межа заскучала, задремала.

— Задремала, — повторил Арсений. — Я этого не знал.

— Никто не знал. Митрич один помнит. Он говорит, без тумана хуже было, чем с туманом.

Арсений перевернул страницу.

Серая строка была внизу. Отдельно, через две пустые строки после августовских записей, как будто кто-то оставил место. Бледная, холодная.

«Межа за Пашкевич М. Г. Срок: 24 года. Предмет: —. Мера: —. Кредитор:»

И пятно.

Пашкевич смотрел на неё и не двигался. Я видела, как у него на виске бьётся жилка.

— Пашкевич, — сказал он наконец. — Это моя фамилия.

— Да.

— М. Г.

— Кто это? — спросил Арсений.

— Не знаю. — Пашкевич отвёл глаза от строки. — Бабка, наверное. По отцу. Я её не знал. Она до меня. Отец про неё не говорил. Или говорил, а я не помню. Я ж отца не помню.

Арсений провёл пальцем по полям, выше серой строки, не касаясь. Там, мелко, карандашом, рукой Анны Глуховой, было приписано: «Марфа. За Витю. Ушла 30.08.68. Не пустая ушла».

— «Не пустая ушла», — прочитала я вслух.

Пашкевич повернулся ко мне.

— Это что значит?

— Это значит, что она ушла в туман, когда ещё много помнила. — Я посмотрела на серую строку. — Если человек уходит целиком, но уже пустой, Межа ничего лишнего не берёт. Переплаты нет. А если не пустой, и долг был не свой, а за другого…

— За Витю, — сказал Пашкевич. — Витя это отец. Виктор Андреевич.

— Она платила за вашего отца. Двадцать четыре года. С сорок четвёртого по шестьдесят восьмой. А потом ушла в туман, и Межа взяла её всю. А долг остался на вашем отце. Задаром взяла.

Пашкевич сидел на корточках. Долго. Потом сел прямо на газеты, вытянув ноги, как садятся люди, которые устали стоять.

— За что она за него платила? — спросил он. — В сорок четвёртом ему семь лет было.

— Не знаю, — сказал Арсений. — Тут не написано. Надо раньше смотреть, в сорок четвёртом. Это второй том.

— Не надо, — сказал Пашкевич. — Я знаю, у кого спросить.

Митрич жил на Верхней, в доме с зелёной крышей, один. Ему было восемьдесят два. Он открыл нам в майке и галошах, посмотрел на Пашкевича, на меня, на Арсения и сказал:

— Чего припёрлись? Часы опять?

— Митрич, — сказал Пашкевич. — Ты бабку мою знал? Марфу Григорьевну?

Митрич перестал хмуриться. Посмотрел на Пашкевича долго, внимательно, сверху вниз, хотя был ниже его на голову.

— Знал, — сказал он. — Заходите.

Он рассказывал на кухне, в табачном дыму, держа кружку с холодным чаем обеими руками. Марфа Григорьевна Пашкевич. Высокая, костлявая, сердитая. Вдова: муж в сорок втором под Ржевом. Один сын, Витька. Витька в сорок четвёртом заболел. Тиф, или что-то такое, Митрич не знал точно: его тогда ещё на свете не было, он знал от матери. Витька лежал в горячке две недели, фельдшер из Кадуя сказал: не жилец. И Марфа ночью пошла к Глуховой. К Анне, хранительнице.

— За сына взяла, — сказал Митрич. — Жизнь. Много. Не знаю, сколько. Двадцать лет платила, больше. Под конец никого не узнавала. Меня не узнавала, а я у неё в огороде каждое лето морковку таскал. А в шестьдесят восьмом, после сверки, пошла на Межу. Ночью. В последний августовский туман. — Митрич помолчал. — Витька её держал. Взрослый уже мужик, тридцать один год. Держал, а она вырвалась. Сказала: «Уйду целиком, и всё закроется, и ты свободный будешь». И ушла.

— Не закрылось, — сказал Пашкевич.

— Не закрылось. — Митрич отпил чай. — Витька потом сам платил. За себя. За свою жизнь, которую мать взяла. Злой стал. Денег много нажил, удачу у корня брал, контору эту завёл, людей переписывал. Ты в него. — Он ткнул в Пашкевича кружкой. — Ты, Эдик, весь в него. Только он злее был.

Пашкевич сидел на табурете. Руки лежали у него на коленях, большие, рабочие, и не двигались.

— Я его не помню, — сказал он. — Отца.

— А я помню, — сказал Митрич. — Плохой был мужик. Но за мать неделю пил, когда ушла. На Межу ходил каждую ночь, звал. Не вышла.

На улице было ещё светло, как бывает в июле в девять вечера: солнце висело над лесом и не садилось. Пашкевич шёл между нами по Верхней, засунув руки в карманы куртки, и молчал. У магазина остановился.

— Лобанова, — сказал он. — Растолкуй мне. Как бухгалтер. Без вот этого вашего.

— Межа должна вашей бабушке. Марфе Григорьевне. Она переплатила, Межа взяла её целиком задаром. Долг Межи переходит наследнику. Наследником был ваш отец. Отец умер в девяносто первом. Значит, теперь вы.

— Я, — сказал Пашкевич.

— Вы.

— То есть мне туман должен.

— Да.

Пашкевич засмеялся. Коротко, хрипло, совсем невесело.

— Слышь, — сказал он. — Двадцать лет я людям долги на гроб переписывал. Двадцать лет мне все должны были. Посёлок весь. А тут мне туман должен. Я и не знал.

— Сколько, неизвестно, — сказала я. — Узнать можно, только предъявив. На острове. В туманную ночь. И за проход Межа берёт много.

— Сколько много?

— Глухов отдал всё, что у него было.

Пашкевич подумал.

— У меня мало что есть, — сказал он. — Отца нет. Дороги той нет. Посёлок помню, как ненавидят меня, это помню. Кирку помню. Тапки эти дурацкие помню. — Он помолчал. — Хватит на проход?

— Не знаю.

— А что я с этого возьму? Если предъявлю? Чем она платит?

— Тем, что брала.

Он посмотрел на меня. Я видела, как он считает. Быстро, как считал всю жизнь, когда кто-то приходил к нему в контору с бумагой.

— Отца, — сказал он. — Она у меня отца взяла. В прошлую осень, на дороге в Кадуй. Одиннадцать мер. Если предъявлю, могу сказать: отдай отца.

— Можете.

Пашкевич кивнул. Постоял. Потом достал из кармана ключи от магазина, повертел.

— Слышь, Лобанова, — сказал он. — А ты своё предъявлять будешь?

— Не знаю.

— А когда узнаешь?

— До двадцать восьмого.

— Сорок четыре дня, — сказал Пашкевич. Он тоже умел считать. — Ну, считай. Я тоже посчитаю.

Он открыл магазин, хотя было уже закрыто, и вошёл, не включая свет. Через стекло витрины я видела, как он стоит в темноте за прилавком, где стоял двадцать лет, и смотрит на фотографию на стене. Мужик в кепке, с ребёнком на плечах. Фотографию он перевесил туда с приборной панели машины. Весной.

Глава 4. Шилов дом

Лида позвонила в субботу, пятого августа, в начале одиннадцатого, и начала без «привет».

— Короче. Вера приехала.

Я сидела за кухонным столом с шестой тетрадью, две тысячи одиннадцатый год. Мама напротив, с пятой: мы читали параллельно, и каждые полчаса она диктовала мне строки, а я вносила. Таблица выросла до четырёхсот строк. В графе «оценка» у меня стояли цифры с вопросительными знаками.

— Куда приехала?

— Сюда. На Мостовую. В Шилов дом. — Лида дышала так, будто шла быстро. — Денис её привёз, на машине, с вещами. Шиловская дочка ей сдала, по телефону договорились, ключ под ковриком. Я мимо шла, видела. Ника. Она с вещами. Насовсем.

Мама подняла глаза от тетради. Слышно было всё: Лида говорила громко, когда волновалась.

— Зачем? — спросила я.

— Я откуда знаю? Я не подходила. — Пауза. — Ты пойдёшь?

— Нет.

— Ну и правильно. — Ещё пауза. — Я бы тоже не пошла. Я и не пошла. Короче, я тебе сказала.

Она отключилась. Я положила телефон экраном вниз и взяла ручку. Строка триста девяносто восемь, март одиннадцатого: «Отдала: как Оля пела в хоре „Крылатые качели“. Осталось: 531». Я написала в графе «оценка» двойку и знак вопроса. Ручка оставила на бумаге лишнюю чёрточку, я её не заметила, пока мама не сказала:

— У тебя рука дёргается.

— Не дёргается.

— Дай сюда. — Мама взяла у меня таблицу, посмотрела. — «Крылатые качели» стоят три. Я в хоре два года пела. Это не двойка.

— Ты откуда знаешь, сколько стоят?

— Потому что я это помню, а она отдала. — Мама исправила двойку на тройку. — Ты Веру видеть не хочешь, так и скажи. Не надо на моём хоре отыгрываться.

Я встала, взяла с подоконника сумку.

— Схожу за хлебом.

— Хлеб вчера брали.

— Схожу за хлебом, мам.

К магазину можно было пройти по Нижней, а можно было по Мостовой. По Нижней ближе. Я пошла по Мостовой.

Шилов дом стоял третьим от края, серый, некрашеный, с наличниками, у которых давно облупилась вся краска, кроме одного, синего, на кухонном окне. Шилов покрасил его в восемнадцатом году и на остальные не успел. Мне это рассказала Лида, ещё в двадцать шестом, когда мы считали его восемь мер, которые теперь висели на дочери в Череповце. Дочь на сверку не приехала. Дом с тех пор стоял пустой, только крапива в палисаднике росла по плечо.

Крапива была скошена. Свежая, ещё зелёная, лежала валками вдоль забора. У калитки стояла серая «Шкода» с вологодскими номерами, с открытым багажником. Высокий мужчина в рабочей рубашке, с закатанными рукавами, вынимал оттуда коробку с надписью «КУХНЯ. ХРУПКОЕ».

На скамейке у крыльца сидела Вера.

Я её узнала не сразу. Она похудела. Не так, как худеют на диете, а как худеют от болезни: лицо осталось круглым, а шея стала тонкой, и платье в мелкий горошек висело на плечах. На голове была соломенная шляпа. На груди, приколотый булавкой к платью, белел листок бумаги, сложенный пополам.

Она смотрела на дорогу. На меня.

Я остановилась у забора. Можно было пройти. Кивнуть и пройти: я делала так с Пашкевичем полгода, пока мы не начали разговаривать. Я стояла.

Вера сняла шляпу. Положила на колени. Встала, медленно, держась рукой за спинку скамейки.

— Никуша, — сказала она.

Голос был тот же. Ласковый, с придыханием на первом слоге. Этим голосом она в двадцать шестом говорила «пирожок возьми» и в том же месяце подписывала мою фамилию под чужими долгами.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна.

— Ты загорела. — Вера подошла к калитке. Остановилась, не открывая. Между нами был штакетник. — Я тебя по рыжей узнала. Нет, ты не рыжая. Это Лидочка рыжая. Я тебя по… — Она нахмурилась. Опустила глаза на листок, приколотый к платью, развернула и прочитала. Шевеля губами. Сложила обратно. — По Таечке. Ты на Таечку похожа. Вот так стоишь.

Мужчина с коробкой остановился на крыльце. Посмотрел на нас.

— Мам, — сказал он. — Ты чего встала? Сиди.

— Дениска, это Ника. Таечкина. Я тебе говорила.

— Говорила. — Он поставил коробку на ступеньку. Подошёл. Был он на голову выше матери, светлый, с тяжёлым подбородком и глазами, которые не мигали. — Денис. — Руку не протянул. Я тоже. — Мы ненадолго. Ну, я ненадолго. Мама надолго.

— Насовсем, — сказала Вера.

— Мам.

— Насовсем, Дениска. Я тебе сказала. — Она повернулась ко мне. — Я здесь платить буду. У своих. Здесь Межа, здесь книга, здесь Тимофей Ильич лежит. Здесь Таечка. Если уж кончаться, то здесь, а не у Дениски на кухне, при Сонечке. Не надо Сонечке.

Я молчала.

— Ты не бойся, — сказала Вера. Ласково. — Я к тебе не приду. Я знаю, что ты меня видеть не можешь. Я бы тоже не могла. Я и сама себя… — Она махнула рукой. Шляпа соскользнула с колен, упала в траву. Денис наклонился, поднял, отряхнул. — Я тут тихо. Сама по себе. Ты меня и не увидишь.

— Хорошо, — сказала я.

Слово вышло сухим, как я хотела. Вера кивнула, будто именно этого ответа и ждала. Взяла у сына шляпу и пошла обратно к скамейке. Села. Опять развернула листок на груди, прочитала. Губы шевелились.

Я пошла дальше, к магазину. Хлеб купила. Пашкевич за прилавком посмотрел на меня, на хлеб, снова на меня.

— Видела? — спросил он.

— Видела.

— Я ей дом помогал смотреть. — Он отсчитал сдачу, положил на блюдечко. — Она мне позвонила, а я ж там, на Мостовой, всех знаю. Шиловская дочка мне сама предлагала продать, я отказался. Под Веру отдал.

— Зачем?

— Затем, что у меня с ней своё. — Пашкевич подвинул блюдечко ко мне. — Она мне семь лет бумаги носила. Я семь лет её бумаги переписывал. Я у неё в должниках не числюсь, а всё равно должен. Тебе не понять.

Я взяла сдачу.

— Понять, — сказала я.

Он посмотрел на меня поверх кассы и промолчал.

Денис пришёл вечером. Я услышала, как стукнула калитка, и выглянула в окно: он стоял у столбика, где обычно сидел Рубль, и Рубль сидел на столбике и смотрел на него снизу вверх с недоверием. Денис не гладил кота. Стоял, засунув руки в карманы джинсов, и ждал.

Я вышла на крыльцо. Мама осталась на кухне, но окно было открыто.

— Можно на минуту? — спросил Денис.

— Можно.

Он не поднялся на крыльцо. Остался у калитки.

— Мама про вас каждый день говорит, — сказал он. — Каждый день. Она меня по утрам не помнит. Встаёт, выходит на кухню, а я там. И она на меня смотрит, как на электрика. Вежливо. Я ей говорю: мам, я Денис. Дионисий. Твой сын. Она смотрит, вспоминает. Иногда за минуту. Иногда до обеда. А вас она не забывает. Ни разу. Вас и Таисию Марковну. Это у неё самое крепкое.

Он говорил ровно, без пауз. Выучил по дороге.

— Она это не ради вас, — сказал он. — Вы не думайте. Она это помнит, потому что ей стыдно. А стыд Межа не берёт. Мама говорит, стыд дешёвый, за него ничего не дают.

Я стояла на крыльце, держась за перила.

— Чего вы хотите, Денис?

— Пашкевич в магазине говорит, вы с ним теперь кредиторы. Что туман вам должен. — Он поднял на меня глаза. — Это правда?

— Ему должен. Мне неизвестно.

— Но может быть.

— Может.

— Если должен, — сказал Денис, — можно, чтобы он маме отдал? Ну, на её долг. Чтобы она перестала платить. Я заплачу вам. Деньгами. Я в Вологде дом строю, это всё равно. Сколько надо.

Рубль спрыгнул со столбика и ушёл под крыльцо.

— Это не так работает, — сказала я.

— А как?

Я не ответила. Я не знала, как это работает. Я знала про зачёт из книги Глухова, из одной строки, сделанной один раз, ценой жизни. Я знала, что Вера двадцать лет подсовывала бабушке бумаги на подпись. Я знала, что бабушка платила за Верины долги, когда уже не узнавала соседей. И я знала, что если Межа должна бабушке, то, может быть, ровно столько, сколько Вера с неё взяла.

— Я не продаю, — сказала я.

Денис кивнул. Будто тоже ждал именно этого.

— Я не за этим, — сказал он. — Я про деньги сказал, потому что больше у меня нечего. Ладно. — Он вынул руки из карманов. — Я завтра уезжаю. Буду по пятницам приезжать. Если ей плохо станет… у вас мой телефон есть?

— Нет.

Он назвал номер. Я не записала. Он видел, что не записала, и назвал ещё раз, медленнее. Потом ушёл, не закрыв калитку.

Я спустилась с крыльца, закрыла. Постояла. В окне кухни была мама, она смотрела на меня и не делала вид, что не слушала.

— Вот, — сказала мама. — Начинается.

— Что начинается?

— Ты считать начала, а уже все пришли. — Она отошла от окна. Я вернулась на кухню. Мама сидела над пятой тетрадью и не поднимала головы. — Пашкевич со своим долгом, Верка со своим. А ты ещё таблицу не досчитала.

Я села. Взяла шестую тетрадь. Дальше был апрель одиннадцатого, туманов нет, записей мало. Июнь пустой. В июле, без тумана, без «отдала», одна строка, бабушкиным почерком, ещё ровным:

«Верочка опять с бумагой. Подписала. Пусть».

Я перечитала. Посмотрела на дату: двенадцатое июля две тысячи одиннадцатого. Вера ещё ничего не переписывала в одиннадцатом: Денис разбился в семнадцатом.

— Мам, — сказала я. — Вера в одиннадцатом году к бабушке с какими бумагами ходила?

Мама подняла голову.

— Откуда я знаю. Медкарты, наверное. Справки. Она ж фельдшер.

Я записала строку в таблицу. В графе «оценка» поставила прочерк: там не было ни «отдала», ни цифры. В графе «примечание» написала: «Вера. Какая бумага?» И подчеркнула два раза, хотя никогда ничего не подчёркиваю дважды.

Глава 5. Успенье

Двенадцатую тетрадь мы с мамой дочитали в субботу, двадцать шестого, в четыре часа дня. Последняя запись в ней была от июня двадцать пятого: «Отдала: как пахнет у Оли макушка. Осталось: 429». Дальше шла моя, тринадцатая, та, что бабушка вела последний год и что я привезла с собой из Петербурга ещё в двадцать шестом. Её я знала почти наизусть.

Мама закрыла двенадцатую и положила сверху ладонь, как в июне на сумку.

— Всё, — сказала она.

— Не всё. Ещё сводить.

— Для меня всё. — Она встала, потянулась, хрустнув спиной. — Я больше не могу читать, как она меня отдаёт. Сводить сама будешь.

Таблица вышла на две тысячи триста строк. Бабушка писала почти каждый день, даже когда тумана не было: «Сухо», «Оля не звонит», «Вера за давлением». Строк с «Отдала» было двести шестьдесят. У каждой в колонке «оценка» стояла цифра: моя или мамина. Иногда, в последние годы, буквы у бабушки съезжали со строки и залезали на следующую, и мы гадали, что она отдала, по одному слову.

Сумма в колонке «оценка» вышла пятьсот девяносто. А если сложить, на сколько за все эти годы падало бабушкино «Осталось», выходило триста сорок. Мы с мамой ставили её память почти вдвое дороже, чем брала за неё Межа. Я не знала, что из этого следует. Я знала, как получилась первая цифра: маминым «это стоит три», моими «это, наверное, два», чужой ценой чужой памяти. Выборка из одного человека. Ни один аудитор такое не подпишет.

— Сколько? — спросила мама из кухни.

— Не знаю.

— Ты три месяца считала.

— Я три месяца переписывала. Считать не на чем.

Мама вышла из кухни с полотенцем на плече и посмотрела на экран через моё плечо. На две цифры внизу, одну под другой.

— Это что, она за всю жизнь триста сорок отдала?

— За двадцать три года. Мелочами. По одной, по две.

— Девяносто семь штук про меня, — сказала мама. — Мелочами.

Она молча сложила полотенце вдвое, потом вчетверо.

— А должна тебе Межа сколько?

— Я не знаю, мам. Я даже не знаю, это то, что надо считать, или нет.

— Ника. — Мама положила полотенце на стол. — Я тебя знаю тридцать два года. Ты не считаешь просто так.

Арсений пришёл в шесть. Он принёс рыбу от Митрича, завёрнутую в газету, и сразу, не разуваясь, сказал с порога:

— Послезавтра.

— Я знаю.

— Я хочу, чтобы ты была у меня. Первую ночь. — Он снял очки, протёр о рубашку. — Если она вернёт. Я хочу, чтобы ты рядом была, когда я проснусь. Подтвердить.

— Подтверждают, когда записано.

— Я запишу. Но я хочу, чтобы ты видела моё лицо, когда я это… — Он запнулся. — Когда у меня в голове станет больше. Я не знаю, какое у меня будет лицо. Ты знаешь, как он смотрел. Ты скажешь, похоже или нет.

Я посмотрела на маму. Мама взяла у него рыбу.

— Иди, — сказала она мне. — Я одна посижу. Я в Петербурге полгода одна сидела.

Двадцать восьмого с утра было тепло и тихо. Небо было высокое, белёсое, и над Межей, если смотреть с Нижней, стояло что-то вроде дымки, не туман ещё, а его обещание. Митрич у колонки сказал, глядя туда:

— К вечеру придёт. Всегда на Успенье приходит. Хоть бы раз опоздал.

В полдень мы с мамой были на кладбище. Ходить туда на Успенье придумала мама, сама: «я двадцать три года на могилу не ходила, теперь буду в каждый праздник, какой вспомню». Бабушкин крест стоял третьим от берёзы. Рядом, с прошлой осени, крест Глухова, с фотографией, на которой он был сердитый и в ушанке. Фотографию выбирала тётя Шура.

Мама положила на бабушкин холмик астры из палисадника. Постояла. На башне ударили часы, и до кладбища дошло глухо, как из-под воды. Двенадцать.

— Двадцать восьмое, — сказала мама.

— Да.

— Ты будешь что-нибудь писать сегодня? В книге?

— Нет. Сегодня нет. Я не знаю, что писать.

Мама кивнула. Присела на корточки, поправила астры, которые и так лежали ровно.

— Мам, ты ей говорила? Там, в ноябре. На острове. Ты что-нибудь ей сказала?

— Сказала, — ответила мама, не вставая. — «Мам, это я». Она на меня посмотрела и сказала: «Девушка, у вас свечка есть?» — Мама встала, отряхнула колени. — Свечка у неё в голове осталась. Со всей меня одна свечка. Девяносто семь штук отдала, а свечку оставила.

Туман пришёл в начале десятого. Я сидела у Арсения на кухне, за его столом, где рядами, циферблатами вверх, лежали часы, которые ему несли со всего района: семь чужих будильников, ходики с кукушкой без кукушки, наручные «Слава» в пакетике с запиской «Сделай, сынок, мужнины». Арсений стоял у окна и смотрел, как туман ложится на огород. Сначала на грядки. Потом на бочку. Потом на забор, за которым был тёмный дом Глухова.

— Ну вот, — сказал он.

Книга лежала на столе, в ящике, открытая на последней странице. Я посмотрела. Строка бабушки. Под ней моя отсрочка. Под ней «Должник напоминает». Серые цифры напоминаний менялись все полгода, раз в неделю, и последняя, вчерашняя, была: «1 день». Сегодня под ней не было ничего.

— Она пишет ночью, — сказал Арсений. — Обычно после двенадцати.

Он сел напротив, взял со стола будильник без задней крышки и стал в нём ковыряться. Отвёртка у него в пальцах ходила ровно. Я смотрела на его руки. В одиннадцатом часу вышла на крыльцо подышать: в доме хранителя туман не трогает, а снаружи ему трогать у меня было нечего. Мой долг закрылся на сверке два года назад.

Посёлок лежал в тумане, как в молоке. Ни одного огня. Только на Мостовой, в той стороне, где кончалась улица, светилось одно окно. Жёлтое, низкое, в доме без света по сторонам. Шилов дом. Кухонное окно, с синим наличником.

Вера не спала. Платила.

Я постояла, пока не замёрзли руки, и вернулась в дом.

Арсений уснул за столом в начале второго. Он держался долго, собрал будильник, завёл, поставил на полку и взял следующий, а потом положил голову на руки, прямо на ходики без кукушки, и уснул. Я накрыла его пледом с дивана. Сама сидела над книгой.

В два сорок на последней странице, под «1 день», проступила строка.

Не появилась сразу, как появляется написанное ручкой, а выступила, как выступает вода на промокашке. Серым, ровным, без наклона.

«Срок отсрочки истёк. Должник предлагает: 1100. Окончательно».

Я прочитала два раза. Потом в третий, вслух, шёпотом, чтобы услышать, как это звучит.

Тысяча сто. Окончательно.

Я сидела над книгой и думала не про цифру. Я думала про слово. В первый раз за полтора года Межа написала не «должник просит» и не «должник напоминает». Она написала «предлагает». Так пишут в коммерческом предложении. Так пишет сторона, которая начинает торг и ставит первую цену ниже, чем готова дать, а потом добавляет «окончательно», чтобы у второй стороны не было времени подумать.

Я знала эту интонацию. Двенадцать лет я получала такие письма от главных бухгалтеров.

Арсений спал на столе и дышал ровно. Около четырёх он вздрогнул, не просыпаясь, и что-то сказал. Я не разобрала. Одно слово. Может быть, моё имя. Может быть, нет.

Проснулся он в половине седьмого, от будильника, которого сам завёл в одиннадцать вечера и забыл. Будильник затрещал на полке, Арсений поднял голову, сел, посмотрел на меня сонными глазами и сказал:

— Вы не спали.

Я не ответила.

Он моргнул. Провёл рукой по лицу, по щеке, на которой отпечатался край ходиков.

— Вы всю ночь сидели, — сказал он. — Вероника Андреевна, вы… — И замолчал.

Мы смотрели друг на друга через стол.

— Ника, — сказал он. Медленно, будто пробовал. — Ника. Прости. Я сейчас… Подожди.

Он встал, отошёл к окну. Туман уходил, огород проступал из белого, бочка, грядки, забор. Он стоял спиной ко мне, положив обе руки на подоконник.

— Мне вернули, — сказал он, не оборачиваясь. — Ночью. Я помню. Твоя кухня. Ноябрь. Ты сидишь у печки, у меня в руках крышка от термоса, и ты говоришь мне, что я прыгнул. Что мне было десять и я прыгнул за тобой в воду. И я смотрю на свои руки. И я думаю… — Голос у него стал тише. — Я думаю: значит, у меня что-то было до. Значит, я кто-то был. И мне от этого так… Ника, мне было так хорошо. Ты не представляешь. Меня никто никогда… я был никто, а ты мне сказала, что я прыгнул.

Он обернулся.

— Это было?

— Было, — сказала я.

Голос у меня не слушался. Я не знала, что это была за ночь для него. Для меня это была ночь, когда я узнала, что жива в долг, и мне было плохо, и он сидел на табурете. Я не знала, что ему было хорошо.

— Это ты сказала «недостача с двух сторон», — сказал Арсений. — А я засмеялся. Нет. Ты засмеялась. Я сказал «бухгалтерия», и ты засмеялась.

— Да.

Он сел обратно за стол. Достал из кармана рубашки тетрадь, открыл на красной закладке. Под записью про печь было пусто. Он взял карандаш и долго не писал. Потом написал. Я видела, как он пишет: аккуратно, под диктовку, как в прошлый раз.

«28/29.08.2028. Кухня Т. М., ноябрь 2026. Н. сказала: я прыгнул за ней. Мне было хорошо. „Недостача с двух сторон“».

Он повернул тетрадь ко мне и протянул карандаш.

— Подпиши.

Я взяла ручку из своей сумки. Чёрную. Написала под его строкой: «Было. Подтверждаю. Н. Л.» Буквы вышли неровные, «Л» съехала вниз.

Арсений смотрел на мою подпись. Потом закрыл тетрадь и показал мне на книгу.

— Что там?

Я подвинула книгу к нему. Он прочитал серую строку. Брови у него поднялись.

— Тысяча сто, — сказал он.

— Да.

— Это много?

Мама спросила то же самое вчера, теми же словами.

— Это мало, — сказала я.

Арсений кивнул. Взял шариковую ручку, ту, которой писал на запястье, и вывел на левой руке, поверх полустёртого «Рубль, корм»: «29.08. Межа: 1100. Н.: мало».

Потом опять посмотрел на меня. Слишком долго. Так, как смотрел на меня два года назад человек, который через три недели отдал всё, что про меня знал.

— Вероника Андреевна, — сказал он тихо. И, услышав себя, закрыл глаза.

Глава 6. Два утра

Чай он заварил сам, в старом Глуховском чайнике с отбитым носиком, и разлил по кружкам так аккуратно, будто от этого что-то зависело. Положил мне три ложки. Потом остановился с четвёртой над кружкой.

— Он клал три? — спросил Арсений.

— Он не клал. Он спрашивал.

— А я не спрашиваю.

— Ты в декабре записал.

— Да. — Он высыпал четвёртую ложку обратно в сахарницу. — Я записал. А он спрашивал. Вот разница.

Мы сидели на его кухне в половине восьмого утра, среди часов. Туман ушёл весь, за окном было мокро и солнечно, с огурцов капало. Арсений держал кружку обеими руками и смотрел в неё.

— Я тебе скажу одну вещь, — сказал он. — Только ты не обижайся.

— Говори.

— Мне понравилось говорить тебе «вы».

Я поставила кружку.

— Не так, — сказал он быстро. — Я не про то, что хочу на «вы». Я про то, как это было в нём. Ночью, когда вернулось. Он говорил тебе «вы», и у него внутри от этого было… — Он поискал слово, не нашёл, поставил кружку. — Он тебя держал на расстоянии, потому что боялся подойти ближе. А «вы» было как перила. За них можно держаться. И мне это понравилось. Не «вы». Перила.

— У тебя перил нет?

— У меня есть тетрадь. — Он похлопал по карману рубашки. — Тетрадь не перила. Тетрадь это инструкция.

Я молчала. Он наклонил голову к плечу и посмотрел на меня. Так он слушал всегда, и тот, и этот. Это у них было общее, и у мальчика с мостков тоже.

— Как я выглядел? — спросил он. — Утром. Когда сказал «вы». Похоже на него?

Я хотела ответить сразу. Не смогла.

— Похоже, — сказала я.

— Сильно?

— Да.

Арсений кивнул. Медленно, будто взвешивал.

— Значит, она мне должна ещё триста восемьдесят шесть, — сказал он. — Одна ночь три меры. Посчитай, кем я буду к ноябрю.

— Не будешь. У тебя есть два года. Их она не трогает.

— Два года против трёх недель. — Он улыбнулся, коротко. — Ты сама говорила, что три недели с тобой для него стоили четыреста двенадцать мер. Сколько стоят мои два года? Я не знаю. Я ни разу не отдавал.

Я вышла от него в девятом часу. Мама сидела на крыльце в бабушкиной кофте, с кружкой, и смотрела на дорогу. Она меня ждала.

— Ну?

— Вернула. Одну ночь.

— Какую?

— Ноябрь двадцать шестого. Когда я узнала про себя. Про пневмонию.

Мама поставила кружку на ступеньку.

— И что он?

— Он сказал мне «вы». Утром.

Мама смотрела на меня снизу вверх. Я стояла у калитки, держась за столбик, на котором не было Рубля: Рубль ушёл с утра по своим делам.

— А ты чего такая? — спросила мама.

— Какая?

— Будто тебе дали, а ты не рада.

Я открыла рот и закрыла. Мама подождала, потом взяла кружку и ушла в дом. Дверь оставила открытой.

Я села на её место. Ступенька была тёплой. Я сидела и пыталась понять, что со мной. Полтора года я хотела, чтобы он вспомнил. Каждый раз, когда в книге на его строке не прибавлялось, мне было больно. Я ходила на мостки. Я плакала в бане, чтобы не слышала Лида. Теперь Межа вернула ему одну ночь, и он сказал мне «вы» тем самым голосом, и у меня внутри всё сжалось. Не от радости.

Я его испугалась.

Не прежнего. Себя рядом с прежним. Я вспомнила, как это было: две недели осенью двадцать шестого, когда каждое слово надо было взвешивать, и любое могло стать последним. Я привыкла к другому. К человеку, который кладёт три ложки, не спрашивая. Который записывает «тот здоровался со всеми, я тоже буду». Который соревнуется с мертвецом и сам над этим смеётся.

Я не знала, кого я хочу, чтобы он помнил.

Это было новое. До этой ночи я знала.

Во вторую ночь туман пришёл позже, к одиннадцати, и был жидкий, низкий. Я ночевала дома. Арсений позвонил в одиннадцать и сказал, что будет сидеть с книгой, а мне надо спать, потому что «у тебя мама, у мамы бессонница, будешь ей рассказывать про тысячу сто до утра». Я легла. Не спала. Мама за стенкой тоже не спала, я слышала, как скрипит кровать. Под утро уснули обе.

В семь утра он стоял у калитки.

— Ничего, — сказал он вместо приветствия. — Ни одной.

— Ничего не вернула?

— Ничего. Я до четырёх сидел, проверял строку. Остаток как был. Триста восемьдесят шесть.

Я спустилась с крыльца. Он стоял по ту сторону калитки, с термосом, в куртке поверх майки, не спавший, небритый, и улыбался.

— Мне легче, — сказал он. — Ты бы видела, как мне легче. А потом я подумал: а почему не вернула? Может, она решила, что хватит? Может, она одну вернула, а остальное будет торговать, как с тобой? И мне стало обидно. — Он засмеялся. — Вот. Мне и легче, и обидно. За полчаса. Я раньше так не умел.

— Это нормально.

— Записать?

— Запиши.

Он достал тетрадь прямо у калитки, открыл на синей закладке и записал. Я видела, что: «30.08. Ничего не вернула. Легче. Обидно. Н.: это нормально».

Потом он ушёл спать. Я пошла за хлебом.

Вера стояла на перекрёстке Нижней и Мостовой, у колонки, в домашних тапках, в халате поверх ночной рубашки. В руке у неё было пустое ведро. Она стояла и смотрела то на Мостовую, то на Нижнюю, то на ведро. Над колонкой ещё висел клочок тумана, тонкий, как марля.

Я остановилась.

Можно было пройти. Я стояла.

Вера увидела меня. Лицо у неё стало растерянным, потом испуганным, потом она опустила глаза на грудь. Листка на халате не было. Он остался на платье, в доме.

— Девушка, — сказала она. — Вы не знаете… — И остановилась. Нахмурилась. — Нет. Ты не девушка. Ты Никуша.

— Да.

— Никуша. — Вера переложила ведро в другую руку. — Я за водой пошла. Там колонка во дворе не работает, у Шилова. Я пошла сюда. Набрала. — Она посмотрела в ведро. Оно было пустое. — Нет. Не набрала. Пошла и стою. Я не помню, где я живу.

Голос у неё был ровный. Она не плакала. Она говорила это без испуга, как про чужую забывчивость.

— На Мостовой, — сказала я. — В Шиловом доме.

— А. — Вера посмотрела на Мостовую. — Это туда.

— Туда.

Она кивнула и не двинулась.

Я взяла у неё ведро. Подставила под колонку, качнула ручку. Вода пошла толчками, холодная, ржавая сначала, потом чистая. Вера смотрела, как она льётся.

— Ты не должна, — сказала она.

— Я знаю.

Я донесла ведро до Шилова дома. Вера шла рядом, медленно, шаркая тапками. У калитки она остановилась и посмотрела на синий наличник.

— Синее окно, — сказала она. — Я запомнила. Синее окно. А дорогу забыла.

На скамейке у крыльца лежало вчерашнее платье в горошек, и на нём, приколотый булавкой, белел листок. Я поставила ведро на крыльцо. Вера взяла платье, отцепила листок, развернула и протянула мне.

— Прочитай. Мне Дениска написал. Я сама уже не… когда утром. Буквы не держатся.

Почерк был мужской, крупный, печатными буквами.

«ТЫ — КОЖИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА. 58 ЛЕТ.

ЖИВЁШЬ: МОСТОВАЯ, 5. ШИЛОВ ДОМ. СИНЕЕ ОКНО.

СЫН — ДЕНИС. ПРИЕЗЖАЕТ В ПЯТНИЦУ.

ВНУЧКА — СОНЯ, 4 ГОДА.

ТАИСИИ МАРКОВНЫ НЕТ С 2026 ГОДА.

К НИКЕ НЕ ХОДИ. ОНА НЕ ХОЧЕТ».

Последняя строка была написана другой рукой. Мелкой, наклонной, с нажимом. Верой.

Я прочитала вслух. Медленно, как она просила. На последней строке остановилась, и Вера сказала сама, не глядя:

— Она не хочет.

Я сложила листок пополам и отдала ей. Она приколола его обратно на платье, на ощупь, пальцами, которыми когда-то делала уколы так, что никто не плакал.

— Иди, Никуша, — сказала она. — Иди. Я теперь помню. Синее окно.

Я пошла. В магазине купила хлеб. Пашкевич посмотрел на меня поверх кассы и ничего не спросил.

Дома мама резала огурцы. Увидела хлеб, увидела моё лицо.

— Хлеб вчера брали, — сказала она.

Я положила буханку на стол рядом со вчерашней. Мама посмотрела на две буханки, на меня, взяла нож и отрезала от вчерашней.

Глава 7. Лицей

Кира пришла в четверг вечером, накануне отъезда, с рюкзаком на одном плече и с видом человека, которого выставили из дома.

— Мама сказала, чтоб я у тебя поужинала, — сообщила она с порога. — Потому что она ревёт и не хочет при мне.

— Проходи.

— Я и так прохожу.

Она прошла на кухню, кивнула маме, села на табурет у печки, на котором любил сидеть Рубль, и Рубль, пришедший следом, посмотрел на неё с осуждением и ушёл на подоконник. Кире было четырнадцать, через две недели пятнадцать. За год она вытянулась, остригла волосы до плеч, и рыжина у неё стала темнее, медная, как у Лиды в её возрасте на фотографиях. Сапоги тридцать седьмого размера, которые отец прислал в январе, стояли у Лиды в сенях ненадёванные.

Мама поставила перед ней тарелку с котлетами. Кира съела две, не поднимая глаз, и только после этого заговорила.

— Пашкевич мне крёстный, — сказала она. — Вы знали?

Мама подняла брови. Я покачала головой.

— Вот и я не знала. — Кира отодвинула тарелку. — Мама вчера сказала. Четырнадцать лет. Он меня в церкви в Кадуе держал, когда мне было три месяца. Папа его попросил, потому что больше некого было. А потом папа уехал, и мама с Пашкевичем поругалась, и все сделали вид, что ничего не было. Он мне на день рождения ни разу ничего не подарил.

— А теперь?

— А теперь он меня завтра везёт. — Кира пожала плечами. — Папа без машины. Пашкевич сам предложил. Мама сказала: «Ну пусть хоть так». — Она помолчала. — Я ему ничего не скажу. Пусть сам.

Ноутбук стоял на краю стола, открытый, с таблицей. Кира повернула его к себе, не спрашивая. Пролистала вниз. Ещё вниз.

— Это что?

— Бабушкины тетради. Всё, что она отдала Меже.

— Две тысячи триста строк, — сказала Кира. — Нормально. — Она пролистала до конца, до суммы. — А это?

— Сколько это стоило. Примерно.

— Зачем?

Я объяснила. Межа должна бабушке. Межа предлагает тысячу сто. Я хочу знать, сколько на самом деле, прежде чем соглашаться или спорить. Кира слушала, подперев щёку кулаком, и смотрела на экран, а не на меня. Когда я закончила, она ещё немного посмотрела на экран.

— Я не поняла, — сказала она. — Вы считаете, что она отдала.

— Да.

— А туман ей должен за что?

Я открыла рот.

— За то, что взял в конце, — сказала Кира медленно, так, как объясняют младшим. — Она пошла в туман вся. Туман её взял всю. А долг не закрылся. Значит, он должен за то, что взял тогда. Когда она пошла. А не за то, что она до этого отдавала. То, что она отдавала, она отдавала за тебя. Это по-честному. Это не переплата.

Мама за моей спиной перестала мыть тарелку.

Я сидела и смотрела на таблицу. Две тысячи триста строк. Три месяца. Мамины «это стоит три». Всё это было про то, что бабушка платила. Платила по долгу, честно, за меня, за Сеню. Межа брала своё и записывала. Тут она не была никому должна.

Должна она была за то, что бабушка унесла с собой в туман двенадцатого сентября. За всё, что у неё ещё оставалось.

А что у неё оставалось, не знал никто.

— Ну? — сказала Кира.

— Ты права, — сказала я.

— Я знаю. — Она вернула мне ноутбук. — Вы взрослые всегда считаете то, что легко посчитать. А то, что надо, не считаете, потому что не видно.

Мама засмеялась. Громко, с кухни, в первый раз за неделю. Поставила тарелку в сушилку и вышла к нам, вытирая руки.

— Кирка, — сказала она. — Ты в лицее всех учителей съешь.

— Пусть сначала попробуют. — Кира встала, взяла рюкзак. — Спасибо за котлеты. Я пойду. Мама уже, наверное, доревела.

В дверях она обернулась.

— Ника. А если не видно, как тогда считать?

— Не знаю.

— Ну вот, — сказала Кира. — Я тоже не знаю. Вот и думай.

В пятницу утром у Лидиной калитки стоял пашкевичский «Патриот» с открытым багажником. Пашкевич укладывал туда сумку Киры, коробку с книгами и пакет с пирожками, который Лида сунула ему в руки и велела положить «так, чтобы не помялись». Пашкевич держал пакет на вытянутых руках и не знал, куда его деть.

Андрей сидел на ступеньке крыльца. Он приехал ночью, с вахты, через Вологду, двумя автобусами и попуткой, и выглядел так, как выглядят люди, которые не спали двое суток: тихо. Рядом с ним сидела Лида. Не близко. Между ними на ступеньке стояла кружка с чаем, одна, и они пили из неё по очереди.

Я остановилась у забора, не входя. Не хотела мешать.

Они разговаривали. Я не слышала о чём. Лида говорила, Андрей кивал. Потом Андрей говорил, а Лида смотрела перед собой. Она не перебивала. Я знала Лиду с трёх лет, с перерывом в двадцать три года, и не помнила, чтобы она дала кому-нибудь договорить до конца.

Кира вышла из дома с рюкзаком. Встала над ними на верхней ступеньке, посмотрела сверху вниз на две головы.

— Вы что, разговариваете? — спросила она.

— Разговариваем, — сказал Андрей.

— Нормально?

— Нормально.

Кира подумала. Потом сошла на две ступеньки ниже и села между ними, прямо на кружку. Кружка опрокинулась, чай потёк по доскам. Никто не стал вытирать.

Я отошла от забора. Постояла у колонки. Через несколько минут Лида вышла за калитку. Глаза у неё были сухие и красные.

— Видела? — спросила она.

— Видела.

— Первый раз за двенадцать лет. Нормально поговорили. — Лида засунула руки в карманы куртки. — Он сказал, что в Уренгое снег уже лёг. Что сапоги Кирке были малы на размер, он в магазине перепутал, а она не сказала. Что он ей в сентябре на день рождения не приедет, вахта. — Она замолчала. — Он её маленькую совсем не помнит. Ни одного дня, пока с нами жил. Он сказал, что смотрит её детские фото и как будто чужого ребёнка смотрит. Хорошего, но чужого. Я двенадцать лет думала, что он нас бросил. А он себя бросил.

Я стояла рядом. Вспомнила, что надо сказать, и не знала, как.

— Лид. У Андрея долг пятьсот сорок мер. Его, может быть, можно закрыть.

Лида повернула голову.

— Как?

— Межа должна Пашкевичу. И бабушке. Есть такое: зачёт. Как Глухов сделал для Волковых. Если всё сойдётся, может быть…

— Не надо, — сказала Лида.

— Я ещё не…

— Не надо, Ника. — Она говорила тихо, без «короче». — Не надо мне надежды. Я двенадцать лет без надежды нормально жила. Привыкла. А ты мне сейчас скажешь «может быть», и я буду ждать. А потом не сойдётся. У тебя же не всегда сходится.

Я молчала.

— Если сойдётся, — сказала Лида, — ты мне скажешь, когда уже сошлось. Не раньше. Ладно?

— Ладно.

Пашкевич захлопнул багажник. Посмотрел на часы, потом на крыльцо.

— Слышь, Глебов. Время.

Андрей встал. Кира встала. Лида пошла к ним, а я осталась за калиткой. Видела, как Лида обнимает Киру, крепко, долго, а Кира стоит прямо, с рюкзаком, и обнимает одной рукой. Как Андрей стоит рядом и не знает, обнять ли ему Лиду. Как Лида сама протягивает ему руку, и он её пожимает, а потом она тянет его за эту руку к себе и обнимает тоже, коротко, как обнимают на вокзале дальних родственников.

Кира подошла ко мне последней. Остановилась у калитки.

— Ника, — сказала она тихо, чтобы не слышали. — Если папин долг закроют. Ко мне вернётся? Ну. То, что я отдала. Когда ходила сквозь.

Тепло к отцу. Она отдала его прошлой осенью, на мостках, чтобы посмотреть, как отец забывает её маленькую. Плата за проход. Не долг.

— Нет, — сказала я. — Это не долг. Это плата. Её не возвращают.

Кира кивнула. Не удивилась.

— Ну и ладно, — сказала она. — Я по записям. У меня уже много записано. — Она подняла глаза. — Он мне вчера сказал, что гордится. Я записала. Я перечитываю, и мне нормально. Не тепло. Нормально. Это же тоже что-то.

— Это много.

— Ну вот. — Она обняла меня, одной рукой, как маму. От неё пахло Лидиным шампунем и пирожками. — Считай давай. То, что не видно.

Она села на заднее сиденье. Андрей сел впереди, рядом с Пашкевичем. Пашкевич завёл мотор, «Патриот» дёрнулся, качнулся на колдобине и поехал к развилке, медленно, будто Пашкевич боялся растрясти пирожки.

Мы с Лидой стояли у калитки, пока машина не скрылась за поворотом.

— Короче, — сказала Лида. Голос у неё сел. — Пошли ко мне. У меня пирог. Я на троих пекла, а нас теперь двое.

Мы пошли. На крыльце ещё не высох чай. Лида перешагнула лужу, не глядя, и открыла дверь.

Глава 8. Ведомость

Список был на последней странице тринадцатой тетради, на внутренней стороне обложки, карандашом.

Я знала, что он там есть. Я видела его в двадцать шестом, когда первый раз читала тетрадь в бабушкиной кухне, и потом ещё много раз. Я считала его списком дел. Бабушка всегда писала списки на обороте: «соль, спички, Вере за давление, позвонить Оле». Этот был длиннее и непонятнее, и я решила, что это её поздние записи, когда буквы уже съезжали, и слова теряли смысл. Шестьдесят одна строчка. Короткие, по два-три слова. После каждой цифра.

Сверху, крупно, одно слово: «Осталось».

Без числа. Во всей тетради после «Осталось» всегда стояло число. Здесь не было.

Я сидела над ним в пятницу вечером, вернувшись от Лиды с куском пирога в фольге, и читала его заново. Медленно. Как читают, когда знают, что читают.

«Коля — голос. 14.

Коля — как чинил крыльцо. 6.

Мама — руки. 9.

Оля — свечка. 4.

Оля — первый зуб. 3.

Никуша на крыльце с котёнком, 2002. 30.

Никуша — как считала ступеньки. 12.

Сеня на мостках, за день до. 40.

Школа, 9 „Б“, Петров у доски. 1.

Совхоз, годовой баланс 1987, сошёлся с первого раза. 2.

Вера с Дениской на руках, роддом. 5.

Как пахнет мята в июле. 1.

…»

Шестьдесят одна строчка. Последняя: «Тимофей — как ругался на сходе. 2».

Внизу не было суммы. Бабушка, которая считала в уме быстрее калькулятора, не сложила.

Я сложила. На калькуляторе в телефоне, два раза.

Тысяча сто.

Мама стояла за моей спиной с полотенцем. Я не слышала, как она подошла.

— Это она что? — спросила мама.

— Опись. Что у неё оставалось, когда она ушла. И сколько, по её мнению, это стоит.

— Тысяча сто?

— Тысяча сто.

Мама села рядом. Взяла тетрадь, поднесла к лампе.

— Межа предлагает тысячу сто, — сказала она. — Её же цену.

— Её же цену. Межа не обманывает. Она соглашается.

— А ты?

Я смотрела на строчку «Оля — свечка. 4».

— А я не знаю, правильно ли она себя оценила.

Утром я позвонила Арсению и попросила принести книгу. Все тома с две тысячи третьего. Он пришёл через полчаса с ящиком и двумя томами под мышкой, пятым и шестым, и с тетрадью в нагрудном кармане.

— Что считаем? — спросил он с порога. Потом увидел мой стол, весь в тетрадях с котятами, и добавил: — Ого.

Я объяснила: опись есть, цена бабушкина, вопрос, правильная ли.

— Как проверить? — спросил Арсений. — Это же её цифры.

Я открыла вторую тетрадь, две тысячи пятого года, на любой странице. Показала на поля. Рядом с каждой строкой «Отдала» карандашом, мелко, стояла цифра. Единица. Двойка. Иногда тройка. Я три месяца принимала их за нумерацию. Тот же карандаш, что в описи. Та же манера ставить единицу с длинным носиком.

— Это она перед туманом писала, во сколько, думает, Межа это возьмёт, — сказала я. — План. А «Осталось» показывает, сколько Межа взяла. Факт. Двести шестьдесят пар.

Арсений смотрел на поля. Потом на опись. Потом на меня.

— Калибровка, — сказал он.

— Ты откуда знаешь это слово?

— Я часы чиню.

Мы считали шесть дней. Арсений сверял каждое «Осталось» из тетрадей с остатком по строке в книге, чтобы факт был точный, а не бабушкин. Я разносила пары по категориям. Мама сидела с нами, но не считала: читала строку вслух, когда я просила, и говорила, о ком она. «Это Коля, это папа мой. Это Сеня. Это я. Это опять я».

Тетради с книгой сошлись в двухстах тридцати девяти строках из двухсот шестидесяти. Остальные двадцать одна были последних лет, когда бабушка уже путала цифры. Там я брала факт из книги. Ещё в книге нашлось сто пятьдесят четыре меры, на которые с девятнадцатого года бабушкино «Осталось» прыгало не вниз, а вверх. Верины бумаги. Их сняли на сверке два года назад, и к описи они отношения не имели.

К четвергу у меня была ведомость. Шесть категорий. В каждой три колонки: сколько ставила бабушка в плане, сколько брала Межа, во сколько раз. И четвёртая: сколько в описи.

Школа, совхоз, соседи, книги, погода: план и факт почти совпадали. Плюс-минус десять процентов. Тут бабушка знала себе цену.

Муж: Межа брала в полтора раза больше, чем она думала.

Сеня: в два.

Я: в полтора.

Оля: больше чем в три.

Мама смотрела на эту строку. Я видела, как у неё двигается челюсть.

— Повтори, — сказала мама.

— Она каждый раз думала, что про тебя Межа возьмёт одну меру. А Межа брала три. Иногда четыре. Твою свадьбу она в плане поставила в единицу. Межа взяла две. Выпускной поставила в единицу, Межа взяла три. И так все девяносто семь. Ни разу она не угадала про тебя. Ни разу в большую сторону.

Мама сидела прямо. Положила руки на стол, ладонями вниз, как кладут, когда хотят встать и не встают.

— Она меня дёшево ставила, — сказала мама. — Всегда. Я знала.

— Мам…

— А Межа знала, сколько я ей стою. — Голос у мамы дрогнул и выровнялся. — Межа знала. А она сама нет. Или знала и врала себе. Чтобы отдавать было не так жалко.

Арсений поднял голову от книги. Ничего не сказал.

— Свечка четыре, — сказала мама. — Она поставила свечку четыре меры. Мы с ней в восемьдесят шестом в грозу сидели без света, и она мне пела. Я боялась, а она мне пела, и у неё фальшивило, и мы потом смеялись. Это я помню. Это я сама помню, не по тетрадям. — Она встала. — Это не четыре. Ника, исправь. Это не четыре.

— Я не могу исправлять её цифры. Я могу только поправить на коэффициент.

— Так поправь!

Я поправила. Каждую из шестидесяти одной строки описи на коэффициент её категории. «Оля — свечка. 4» стала тринадцатью с половиной. «Сеня на мостках» восемьюдесятью. Сложила.

Тысяча семьсот восемьдесят одна.

Мама смотрела на цифру. Потом вышла на крыльцо. Дверь за ней закрылась тихо. Через окно я видела, как она стоит у перил, спиной к дому, и не курит, потому что бросила.

Арсений придвинул к себе мою ведомость. Посмотрел на итог. На строку «Оля». На мамину спину в окне.

— Межа знает, что тысяча сто мало, — сказал он.

— Знает. Но держится за опись: кредитор сам поставил цену. Надо оспаривать. Я не знаю, как с Межой спорят.

Арсений встал. Пошёл к ящику, открыл. Под томами лежала папка, картонная, с завязками, старая. Я видела её раньше: в ней были бумаги, которые хранители держали отдельно от книги. Он развязал тесёмки, перебрал листы.

— Анна Глухова, — сказал он. — Шестьдесят восьмой. Я читал, когда принимал книгу, и не понял, зачем это.

Лист был тетрадный, в клетку, пожелтевший. Почерк крупный, с нажимом. Я читала через его плечо.

«Межа торгуется, как баба на рынке. Первую цену даёт свою. Спорить можно. Пишешь на её строке: „Не согласна, требую сверки“. Сверка двумя руками: рука кредитора, рука Межи. Межа руку даёт туманом. Кредитор — если есть рука. Нет руки — даёт тень руки, в последний час. Марфа не дала. Марфа ушла не спорила. А. Г.»

— Марфа, — сказала я. — Бабушка Пашкевича.

— Она не спорила. — Арсений сложил лист. — Значит, у Пашкевича Межа посчитает без спора. А «последний час» — это первый снег. Когда Таисия Марковна может прийти.

Я смотрела на ведомость. На тысячу семьсот восемьдесят одну.

В субботу, девятого сентября, туман пришёл в девять. Я сидела у Арсения. Мама осталась дома, сказала: «Иди одна. Я её всё равно в книге не увижу». В половине одиннадцатого Арсений открыл шестой том на последней странице и придвинул ко мне. Под «Срок отсрочки истёк. Должник предлагает: 1100. Окончательно» было пусто.

Я взяла ручку. Чёрную, золотистую снаружи, бабушкину, ту же, которой писала отсрочку. Подумала. Написала:

«Не согласна. Требую сверки. Лобанова В. А.»

Арсений смотрел, как высыхают чернила. Потом закрыл книгу. Мы сидели на кухне до двух. Он чинил ходики, я смотрела в окно, на туман. В час ночи он сказал, не поднимая головы: «Опять ничего не вернула. Третья ночь подряд». Голос был ровный. Я не поняла, рад он или нет. Он, по-моему, тоже.

Ответ появился к утру. Арсений разбудил меня в шестом часу, я уснула на диване, укрытая тем же пледом, которым неделю назад накрывала его. Книга лежала на столе открытая.

Под моей строкой, серым, ровным, было одно:

«Двумя руками».

— Это значит «да», — сказал Арсений.

— Это значит «попробуй».

Я сидела над книгой и считала. Девятое сентября. Первый снег в прошлом году лёг третьего ноября, в позапрошлом в середине месяца. В этом неизвестно когда. От восьми недель до десяти.

За восемь недель мне надо было найти, как бабушка поставит свою руку под цифрой, которую я посчитала за неё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.